

Пролог

От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблёлкла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные ещё при съёмке, сейчас окончательно расплылись: иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.

На фотографии мы были 7-м «Б». После экзаменов Искра Полякова потащила нас в фотоателье на проспекте Революции: она вообще любила проворачивать всяческие мероприятия.

— Мы сфотографируемся после седьмого, а потом после десятого, — ораторствовала она. — Представляете, как будет интересно рассматривать фотографии, когда мы станем старенькими бабушками и дедушками!

Мы набились в тесный «предбанник»; перед нами спешили увековечиться три молодые пары, старушка с внучатами и отделение чубатых донцов. Они сидели в ряд, одинаково картинно опираясь о шашки, и в упор разглядывали наших девочек бесстыжими казачьими глазами. Искре это не понравилось: она тут же договорилась, что нас позовут, когда подойдёт очередь, и увела весь класс в соседний сквер. И там, чтобы мы не разбежались, не подрались или, не дай бог, не потоптали газонов, объявила себя пифией. Лена завязала ей глаза, и Искра начала вещать. Она была щедрой пророчицей: каждого ожидали куча детей и вагон счастья.

- Ты подаришь людям новое лекарство.
- Твой третий сын будет гениальным поэтом.
- Ты построишь самый красивый в мире Дворец пионеров.

Да, это были прекрасные предсказания. Жаль только, что посетить фотоателье второй раз нам не пришлось, дедушками стали всего двое, да и бабушек оказалось куда меньше, чем девочек на фотографии 7-го «Б». Когда мы однажды пришли на традиционный сбор школы, весь наш класс уместился в одном ряду. Из сорока человек, окончивших когда-то 7-й «Б», до седых волос дожило девятнадцать. А из всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо.

Наша компания тогда была небольшой: три девочки и трое ребят — я, Пашка Остапчук да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зиночки была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой; мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались «надеждой школы», а увалень Александров был признанным изобретателем. Пашка числился влюблённым в Леночку, я безнадежно вздыхал по Зине Коваленко, а Валька увлекался только собственными идеями, равно как Искра — собственной деятельностью. Мы ходили в кино, читали вслух те книги, которые Искра объявляла достойными, делали вместе уроки и — болтали. О книгах и фильмах, о друзьях и недругах, о дрейфе «Седова», об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе и просто так, ни о чём.

Иногда в нашей компании появлялись ещё двое. Одного мы встречали приветливо, а второго откровенно не любили.

В каждом классе есть свой тихий отличник, над которым все потешаются, но которого чтут как до-

стопримечательность и решительно защищают от нападков посторонних. У нас того тихаря звали Вовиком Храмовым: чуть ли не в первом классе он объявил, что зовут его не Владимиром и даже не Вовой, а именно Вовиком, да так Вовиком и остался. Приятелей у него не было, друзей — тем более, и он любил «прислоняться» к нам. Придёт, сядет в уголке и сидит весь вечер, не раскрывая рта, — одни уши торчат выше головы. Он стригся под машинку и поэтому обладал особо выразительными ушами. Вовик прочитал уйму книг и умел решать самые заковыристые задачи; мы уважали его за эти качества и за то, что его присутствие никому не мешало.

А вот Сашку Стамескина, которого иногда притакивала Искра, мы не жаловали. Он был из отпетой компании, ругался как ломовой. Но Искре вздумалось его перевоспитывать, и Сашка стал появляться не только в подворотнях. А мы с Пашкой так часто дрались с ним и с его приятелями, что забыть этого уже не могли: у меня, например, сам собой начинал ныть выбитый лично им зуб, когда я обнаруживал Сашку на горизонте. Тут уж не до приятельских улыбок, но Искра сказала, что будет так, и мы терпели.

Зиночкины родители поощряли наши сборища. Семья у них была с девичьим уклоном. Зиночка родилась последней, сёстры её уже вышли замуж и покинули отчий кров. В семье главной была мама: выяснив численный перевес, папа быстро сдал позиции. Мы редко видели его, поскольку возвращался он обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал в Зиночкину комнату и всегда приятно удивлялся:

— А, молодёжь? Здравствуйтесь, здравствуйтесь. Ну, что новенького?

Насчёт новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.

— Как вы рассматриваете заключение Договора о ненападении с фашистской Германией?

Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался. Мы с Пашкой считали, что он навеки запуган прекрасной половиной человечества. Правда, Искра чаще всего задавала вопросы, ответы на которые знала на зубок.

— Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.

— Правильно, — говорил Зинин папа. — Это ты верно рассудила. А вот у нас сегодня случай был: заготовки подали не той марки стали...

Жизнь цеха была ему близка и понятна, и он говорил о ней совсем не так, как о политике. Он размахивал руками, смеялся и сердился, вставал и бегал по комнате, наступая нам на ноги. Но мы не любили слушать его цеховые новости: нас куда больше интересовали спорт, авиация и кино. А Зинин папа всю жизнь точил какие-то железные болванки; мы слушали с жестоким юношеским равнодушием. Папа рано или поздно улавливал его и смущался.

— Ну, это мелочь, конечно. Надо шире смотреть, я понимаю.

— Какой-то он у меня безответный, — сокрушалась Зина. — Никак не могу его перевоспитать, прямо беда.

— Родимые пятна, — авторитетно рассуждала Искра. — Люди, которые родились при ужасающем гнёте царизма, очень долго ощущают в себе скованность воли и страх перед будущим.

Искра умела объяснять, а Зиночка — слушать. Она каждого слушала по-разному, но зато всем существом, словно не только слышала, но и видела, осязала и обоняла одновременно. Она была очень любопытна и чересчур общительна, почему её не все и не всегда посвя-

щали в свои секреты. Зато любили бывать в их семье с девичьим уклоном.

Наверное, поэтому здесь было по-особому уютно, по-особому приветливо и по-особому тихо. Папа и мама разговаривали негромко, поскольку кричать было не на кого. Здесь вечно что-то стирали и крахмалили, чистили и вытряхивали, жарили и парили и непременно пекли пироги. Они были из дешёвой тёмной муки; я до сих пор помню их вкус и до сих пор убеждён, что никогда не ел ничего вкуснее этих пирогов с картошкой. Мы пили чай с дешёвыми карамельками, лопали пироги и болтали. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.

— А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?

— Чтобы чай был с керосином?

— Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.

— Ну собачь, — соглашалась Зина.

Валька что-то пристраивал, грохотал, дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.

— У Эдисона тоже не всё получалось.

— Может, мне Вальку разок за уши поднять? — предлагал Пашка. — Эдисона один раз подняли, и он сразу стал великим изобретателем.

Пашка и вправду мог поднять Вальку за уши: он был очень силен. Влезал по канату, согнув ноги pistolетом, делал стойку на руках и лихо вертел на турнике «солнце». Это требовало усиленных тренировок, и книг Пашка не читал, но любил слушать, когда их читали другие. А так как чаще всего читала Лена Бокова, то Пашка слушал не столько ушами, сколько глазами: он начал дружить с Леной ещё с пятого класса и был постоянен в своих симпатиях и антипатиях. Искра тоже неплохо читала, но уж очень любила

растолковывать прочитанное, и мы предпочитали Лену, если предполагалось читать нечто особенно интересное. А читали мы тогда много, потому что телевизоров ещё не изобрели и даже дешёвое дневное кино было нам не по карману.

А ещё мы с детства играли в то, чем жили сами. Классы соревновались не за отметки или проценты, а за честь написать письмо папанинцам или именоваться «чкаловским», за право побывать на открытии нового цеха завода или выделить делегацию для встречи испанских детей.

Я попал однажды в такую делегацию, потому что победил на стометровке, а Искра — как круглая отличница и общественница. Мы принесли с этой встречи ненависть к фашизму, переполненные сердца и по четыре апельсина. И торжественно съели эти апельсины всем классом: каждому досталось по полторы дольки и немножко кожуры. Я и сегодня помню особый запах этих апельсинов.

И ещё я помню, как горевал, что не смогу помочь челюскинцам, потому что мой самолёт совершил вынужденную посадку где-то в Якутии, так и не долетев до ледового лагеря. Самую настоящую посадку: я получил «плохо», не выучив стихотворения. Потом-то я его выучил: «Да, были люди в наше время...» А дело заключалось в том, что на стене класса висела огромная самодельная карта и каждый ученик имел свой собственный самолёт. Отличная оценка давала пятьсот километров, но я получил «плохо», и мой самолёт был снят с полёта. И «плохо» было не просто в школьном журнале: плохо было мне самому и немного — чуть-чуть! — челюскинцам, которых я так подвёл.

А карту выдумала Искра.

В десятом классе Валентина Андроновна предложила нам тему свободного сочинения «Кем я хочу стать?». И все ребята написали, что они хотят стать

командирами Красной армии. Даже Вовик Храмов пожелал быть танкистом, чем вызвал бурю восторга. Да, мы искренне хотели, чтобы судьба наша была суровой. Мы сами избирали её, мечтая об армии, авиации и флоте: мы считали себя мужчинами, а более мужских профессий тогда не существовало.

В этом смысле мне повезло. Я догнал в росте своего отца уже в восьмом классе, а поскольку он был кадровым командиром Красной армии, то его старая форма перешла ко мне. Гимнастёрка и галифе, сапоги и командирский ремень, шинель и будёновка из тёмно-серого сукна. Я надел эти прекрасные вещи в один замечательный день и не снимал их целых пятнадцать лет. Пока не демобилизовался. Форма тогда уже была иной, но содержание её не изменилось: она по-прежнему осталась одеждой моего поколения. Самой красивой и самой модной.

Мне люто завидовали все ребята. И даже Искра Полякова.

— Конечно, она мне немного велика, — сказала Искра, примерив гимнастёрку. — Но до чего же в ней уютно. Особенно если потуже затянутся ремнём.

Я часто вспоминаю эти слова, потому что в них — ощущение времени. Мы все стремились затянуться потуже, точно каждое мгновение нас ожидал строй, точно от одного нашего вида зависела готовность этого общего строя к боям и победам. Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, всполохи которого ещё долго светят грядущим поколениям. Мы не знали, но это знали наши отцы и матери, прошедшие яростный огонь революции.

Кажется, ни у кого из нас не было в доме ванной. Впрочем, нет, одна квартира была с ванной, но об этом

после. Мы ходили в баню обычно втроем: я, Валька и Пашка. Пашка драил наши спины отчаянно жёсткой мочалкой, а потом долго блаженствовал в парной. Он требовал невыносимого жара, мы с Валькой поддавали этот жар, но сами сидели внизу. А Пашка издевался над нами с самой верхней полки:

— Здравствуйте, молодёжь.

Как-то в парную, стыдливо прикрываясь шайкой, бочком проскользнул Андрей Иванович Коваленко — отец Зиночки. В голом виде он был ещё мельче, ещё неказистее.

— Жарковато у вас.

— Да разве это жар? — презрительно заорал сверху Пашка. — Это же субтропики! Это же Анапа сплошная! А ну, Валька, поддай ещё!

— Борькина очередь, — объявил Валька. — Борька, поддай.

— Стоит ли? — робко спросил Коваленко.

— Стоит! — отрезал я. — Пар костей не ломит.

— Это кому как, — тихо улыбнулся Андрей Иванович.

И тут я шархнул полную шайку на каменку. Пар взорвался с треском. Пашка восторженно взвыл, а Коваленко вздохнул. Постоял немного, подумал, взял свою шайку, повернулся и вышел.

Повернулся...

Я и сейчас помню эту исколотую штыками, исполосованную ножами и шашками спину в сплошных узловатых шрамах. Там не было живого места — всё занимал этот сине-багровый автограф Гражданской войны.

А вот мать Искры вышла из той же Гражданской иной. Не знаю, были ли у неё шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Такие же, как на спине у отца Зиночки.

Мать Искры — я забыл, как её звали, и теперь уже никто не напомнит мне этого — часто выступала в шко-

лах, техникумах, в колхозах и на заводах. Говорила резко и коротко, точно командуя, и мы её побаивались.

— Революция продолжается, запомните. И будет продолжаться, пока мы не сломим сопротивление классовых врагов. Готовьтесь к борьбе. Суровой и беспощадной.

А может, всё это мне только кажется? Я старею, с каждым днём всё дальше отступая от того времени, и уже не сама действительность, а лишь представление о ней сегодня властвует надо мной. Может быть, но я хочу избежать того, что диктует мне возраст. Я хочу вернуться в те дни, стать молодым и наивным...



Глава первая

— Ясненько-ясненько-прекрасненько! — прокричала Зиночка, не дослушав материнских наставлений.

Она торопилась закрыть дверь и накинуть крючок, а мать, как всегда, застряла на пороге с последними указаниями. Постирать, погладить, почистить, прокипятить, подмести. Ужас сколько всего она придумывала каждый раз, когда уходила на работу. Обычно Зиночка терпеливо выслушивала её, но именно сегодня мама непозволительно медлила, а идея, возникшая в Зиночкиной голове, требовала действий, поскольку была неожиданной и, как подозревала Зина, почти преступной.

Сегодня утром во сне Зиночка увидела себя на берегу речки. Этим летом она впервые поехала в лагерь не обычной девочкой, а помощником вожатой, переполненная ощущением ответственности. Она всё лето так строго сдвигала колючие бровки, что на переносице осталась белая вертикальная складочка. И Зиночка очень гордилась ею.

Но увидела она себя не с пионерами, ради которых и приходилось сдвигать брови, а со взрослыми: с вожатыми отрядов, преподавателями и другими начальниками. Они загорали на песке, а Зиночка ещё плескалась, потому что очень любила бултыхаться на мелководе. Потом на неё прикрикнули, и Зиночка пошла к берегу, так как ещё не научилась слушаться старших.

Уже выходя на берег, она почувствовала взгляд: пристальный, оценивающий, мужской. Зиночка смутилась, крепко прижала руки к мокрой груди и постаралась поскорее упасть на песок. А в сладком полусне ей представилось, что там, на берегу, она была без купальника. Сердце на мгновение ёкнуло, но глаз Зиночка так и не открыла, потому что страх не был пу-

гающим. Это был какой-то иной страх, на который хотелось посмотреть. И она торопила маму, пугаясь не страха, а решения заглянуть в него. Решения, которое боролось в ней со стыдом, и Зиночка ещё не была уверена, кто кого переборет.

Накинув крючок на входную дверь, Зиночка бросилась в комнату и первым делом старательно задёрнула занавески. А потом в лихорадочной спешке стала срывать с себя одежду, кидая её куда попало: халатик, рубашку, лифчик, трусики... Она лишь взялась за них, оттянула резинку и тут же отпустила: резинка туго щёлкнула по смуглому животу, и Зиночка опомнилась. Постояла, ожидая, когда уймётся застучавшее сердце, и тихонечко пошла к большому маминому зеркалу. Она приближалась к нему, как к бездне: чувствуя каждый шаг и не решаясь взглянуть. И, только оказавшись перед зеркалом, подняла глаза.

В свинцовом зеркальном холодке отразилась смуглая маленькая девушка с круглыми от преступного любопытства, блестящими, как вишенки, глазами. Вся она казалась шоколадной, и лишь не по росточку большая грудь да полоски от бретелек были неправдоподобно белыми, словно не принадлежавшими этому телу. Зиночка впервые сознательно разглядывала себя как бы со стороны, любовалась и одновременно пугалась того, что казалось ей уже созревшим. Но созревшей была только грудь, а бёдра никак не хотели наливаться, и Зиночка сердито похлопала по ним руками. Однако бёдра ещё можно было терпеть: всё-таки они хоть чуточку да раздались за лето, и талия уже образовалась. А вот ноги огорчали всерьёз: они сбегали каким-то конусом, несоразмерно утоньшаясь к щиколоткам. И икры ещё были плоскими, и коленки ещё не округлились и торчали, как у девчонки-пятиклашки. Всё выглядело просто отвратительно, и Зиночка с беспокойством подозревала, что природа ей тут

не поможет. И вообще все счастливые девочки жили в прошлом веке, потому что тогда носили длинные платья.

Зиночка осторожно приподняла грудь, словно взвешивая: да, это уже было взрослым, полным будущих ожиданий. Значит, такая она будет – кругленькая, тугая, упругая. Конечно, хорошо бы ещё подрасти, хоть немного; Зина вытянулась на цыпочках, прикидывая, какой она станет, когда наконец подрастёт, и, в общем, осталась довольна. «Подождите, вы ещё не так будете на меня смотреть!» – самодовольно подумала она и потанцевала перед зеркалом, мысленно напевая модное «Утомлённое солнце».

И тут раздался звонок. Он ворвался так неожиданно, что Зиночка было ринулась к дверям, но потом метнулась назад, торопливо, кое-как напялила разбросанную одежду и вернулась в прихожую, на ходу застёгивая халатик.

– Кто там?

– Это я, Зиночка.

– Искра? – Зина сбросила крючок. – Знала бы, что это ты, сразу бы открыла. Я думала...

– Саша из школы ушёл.

– Как ушёл?

– Совсем. Ты же знаешь, что у него только мама. А теперь за учење надо платить, вот он и ушёл.

– Вот ужас-то! – Зина горестно вздохнула и при- молкла.

Она побаивалась Искорку, хотя была почти на год старше. Очень любила её, в меру слушалась и всегда побаивалась той напористости, с которой Искра решала все дела и за себя, и за неё, и вообще за всех, кто, по её мнению, в этом нуждался.

Мама Искры до сих пор носила потёртую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень, оставлявший после удара жгучие красные полосы. Про эти полосы